



# Великий пост

Произведения  
русских писателей

---

Серия «Пасхальный подарок»

Пасхальный подарок

**Великий пост. Произведения  
русских писателей**

«Никея»

2014

Великий пост. Произведения русских писателей / «Никея»,  
2014 — (Пасхальный подарок)

Великий пост – особое время. Время подготовки к самому значительному празднику Святому Христову Воскресению. Это радостное и вместе с тем таинственное время. Этой тайной пронизаны произведения Чехова, Лескова, Достоевского и других писателей, чьи произведения собраны в этой книге. Русскими классиками был сформирован нравственный стержень русской литературы. Чтение классики позволяет прикоснуться к тому глубинному, что есть в каждом из нас, помогает нам стать хоть немного лучше и чуть-чуть ближе к Богу.

## Содержание

Федор Достоевский	6
Подросток	6
Великий инквизитор	13
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Великий пост. Произведения русских писателей

© «Никея», 2014

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

Л. Андреев  
И. Бунин  
В. Воропаев  
Ф. Достоевский  
Н. Лесков  
В. Никифоров-Волгин  
С. Снегирева  
Л. Толстой  
А. Чехов  
И. Шмелёв

## Федор Достоевский (1821–1881)

### Подросток (Отрывок)

А было у нас в городе Афимьевском, скажу теперь, вот како чудо. Жил купец, Скотобойников прозывался, Максим Иванович, и не было его богаче по всей округе. Ситцевую фабрику построил и рабочих несколько сот содержал; и возмнил о себе безмерно. И надо так сказать, что уже все ходило по его знаку, и само начальство ни в чем не препятствовало, и архимандрит за ревность благодарил: много на монастырь жертвовал и, когда стих находил, очень о душе своей воздыхал и о будущем веке озабочен был немало. Вдов был и бездетен; про супругу-то его был слух, что усахарил он ее будто еще на первом году и что смолоду ручкам любил волю давать; только давно уж перед тем это было; снова же обзяться браком не захотел. Слаб был тоже и выпить, и, когда наступал ему срок, то хмельной по городу бежит нагишом и вопит; город не знатный, а все зазорно. Когда же переставал срок, становился сердит, и все, что он рассудит, то и хорошо, и все, что повелит, то и прекрасно. А народ рассчитывал произвольно; возьмет счеты, наденет очки: «Тебе, Фома, сколько?» – «С Рождества не брал, Максим Иванович, тридцать девять рублей моих есть». – «Ух сколько денег! Это много тебе; ты и весь таких денег не стоишь, совсем не к лицу тебе будет: десять рублей с костей долой, а двадцать девять получиай». И молчит человек; да и никто не смеет пикнуть, все молчат.

«Я, говорит, знаю, сколько ему следует дать. С здешним народом по-другому нельзя. Здешний народ развратен; без меня б они все здесь с голоду перемерли, сколько их тут ни есть. Опять сказать, народ здешний – вор, на что взглянет, то и тянет, никакого в нем мужества нет. Опять взять и то, что он – пьяница; разочти его, он в кабаке снесет, и сидит в кабаке наг – ни ниточки, выходит голешенек. Опять же он – и подлец: сядет супротив кабака на камушек и пошел причитать: „Матушка моя родимая, и зачем же ты меня, такого горького пьяницу, на свет произвела? А и лучше б ты меня, такого горького пьяницу, на роду придавила!“ Та к разве это – человек? Это – зверь, а не человек; его, перво-наперво, образить следует, а потом уж ему деньги давать. Я знаю, когда ему дать».

Вот так говорил Максим Иванович об народе афимьевском; хоть худо он это говорил, а все ж и правда была: народ был стомчивый, не выдерживал.

Жил в этом же городе и другой купец, да и помер; человек был молодой и легкомысленный, прогорел и всего капиталу решился. Бился в последний год, как рыба на песке, да урок житию его приспел. С Максим Ивановичем все время не ладил и кругом ему должен остался. В последний час еще Максима Ивановича проклинал. И оставил по себе вдову еще молодую, да с ней вместе и пятерых детей. И одинокой-то вдовице оставаться после супруга, подобно как бесприютной ластовице, – немалое испытание, а не то что с пятерыми младенцами, которых пропитать нечем: последнее именышко, дом деревянный, Максим Иванович за долг отбирал. И поставила она их всех рядком у церковной паперти; старшему мальчику восемь годков, а остальные все девочки погодки, все мал малой меньше; старшенькая четырех годков, а младшая еще на руках, грудь сосет. Кончилась обедня, вышел Максим Иванович, и все деточки, все-то рядком стали перед ним на коленки – научила она их перед тем, и ручки перед собой ладошками как один сложили, а сама за ними, с пятым ребенком на руках, земно при всех людях ему поклонилась: «Батюшка, Максим Иванович, помилуй сирот, не отымай последнего

куска, не выгоняй из родного гнезда!» И все, кто тут ни был, все прослезилась – так уж хорошо она их научила. Думала: «При людях-то возгордится и простит, отдаст дом сиротам», только не так оно вышло. Стал Максим Иванович: «Ты, говорит, молодая вдова, мужа хочешь, а не о сиротах плачешь. Покойник-то меня на смертном одре проклинал», – и прошел мимо и не отдал дом. «Чего ихним дурачествам подражать (то есть поблажать)? Окажи благодеяние, еще пуще станут костить; все сие ничтоже успевает, а лишь паче молва бывает». А молва-то ходила и впрямь, что будто он к сей вдовице, еще к девице, лет десять перед тем подсылал и большим капиталом жертвовал (красива уж очень была), забывая, что грех сей все едино что храм Божий разорить; да ничего тогда не успел. А мерзостей этих самых, и по городу, и по всей даже губернии, производил немало, и даже всякую меру в сем случае потерял.

Возопила мать со птенцами, выгнал сирот из дому, и не по злобе токмо, а и сам не знает иной раз человек, по какому побуждению стоит на своем. Ну, помогали сперва, а потом пошла наниматься в работу. Да только какой у нас, окромя фабрики, заработок; там полы вымоет, там в огороде выполет, там баньку вытопит, да с ребеночком-то на руках и вззоет; а четверо прочих тут же по улице в рубашонках бегают. Когда на коленки их у паперти ставила, все еще в башмачонках были, каких ни есть, да в салопчиках, все как ни есть, а купецкие дети; а тут уж пошли бегать и босенькие: на ребенке одежонка горит, известно. Ну а деткам что: было бы солнышко, радуются, гибели не чувствуют, словно птички, голосочки их что колокольчики. Думает вдова: «Станет зима, и куда я вас тогда одеваю; хоть бы вас к тому сроку Бог прибрал!» Только не дождалась до зимы. Есть по нашему месту такой на детей кашель, коклюш, что с одного на другого переходит. Перво-наперво померла грудная девочка, а за ней заболели и прочие, и всех-то четырех девочек, в ту же осень, одну за другой снесла. Одну-то, правда, на улице лошади раздавили. Что же ты думаешь? Похоронила да и взвыла; то проклинала, а как Бог прибрал, жалко стало. Материнское сердце!

Остался у ней в живых один лишь старшенький мальчик, и уж не надышит она над ним, трепещет. Слабенький был и нежный и личиком миловидный, как девочка. И свела она его на фабрику, к крестному его отцу, управляющему, а сама в нянюшки к чиновнику нанялась. Только бегает мальчик раз на дворе, а тут вдруг и подъехал на паре Максим Иванович, да как раз выпимши; а мальчик-то с лестницы прямо на него, невзначай то есть, посклизнулся, да прямо об него стукнулся, как он с дрожек сходил, и обеими руками ему прямо в живот. Схватил он его за волосенки, завопил: «Чей такой? Лозы! Высечь его, говорит, тот же час при мне». Помертвел мальчик, стали сечь, закричал. «Так ты еще и кричишь? секи ж его, пока кричать перестанет!» Мало ли, много ли секли, не перестал кричать, пока не омертвел вовсе. Тут и бросили сечь, испугались, не дышит мальчик, лежит в бесчувствии. Сказывали потом, что немного и секли, да уж пуглив был очень. Испугался было и Максим Иванович: «Чей такой?» – спросил; сказали ему. «Ишь ведь! снести его к матери; чего он тут на фабрике шлялся?» Два дня потом молчал и опять спросил: «А что мальчик?» А с мальчиком вышло худо: заболел, у матери в угле лежит, та и место по тому случаю у чиновников бросила, и вышло у него воспаление в легких. «Ишь ведь! – произнес, – и с чего, кажись? Диви б его больно секли: самое лишь малое пристрастие произвели. Я и над всеми прочими такие точно побои произносил; сходило без всяких таких пустяков». Ждал было он, что мать пойдет жаловаться, и, возгордясь, молчал; только где уж, не посмела мать жаловаться. И послал он ей тогда от себя пятнадцать рублей и лекаря от себя; и не то чтоб побоявшись чего, а так, задумался. А тут скоро и срок ему подошел, запил недели на три.

Миновала зима, и на самое светло Христово воскресенье, в самый великий день, спрашивает Максим Иванович опять: «А что тот самый мальчик?» А всю зиму молчал, не спрашивал. И говорят ему: «Выздоровел, у матери, а та все поденно уходит». И поехал Максим Иванович того же дня ко вдове, в дом не вошел, а вызвал к воротам, сам на дрожках сидит: «Вот что, говорит, честная вдова, хочу я твоему сыну чтобы истинным благодетелем быть и беспредель-

ные милости ему оказать: беру его отселе к себе, в самый мой дом. И ежели вмаle мне угодит, то достаточный капитал ему отпишу; а совсем ежели угодит, то и всего состояния нашего могу его, по смерти, преемником утвердить, равно как родного бы сына, с тем, однако, чтобы ваша милость, окромя великих праздников, в дом не жаловали. Коли складно по-вашему, так завтра утром приводи мальчика, не все ему в бабки играть». И, сказав, уехал, мать оставив как бы в безумии. Прослышали люди, говорят ей: «Возрастет малый, сам попрекать тебя станет, что лишила его такой судьбы». Ночь-то над ним поплакала, а поутру отвела дитя. А мальчик ни жив ни мертв.

Одел его Максим Иванович как барчонка, и учителя нанял, и с того самого часу за книгу засадил; и так дошло, что и с глаз его не спускает, все при себе. Чуть мальчик зазеваeтся, он уж и кричит: «За книгу! учись: я тебя человеком сделать хочу». А мальчик хилый, с того самого разу, после побоев-то, кашлять стал. «У меня ль не житье! – дивится Максим Иванович, – у матери босой бегал, корки жевал, чего ж он еще пуще прежнего хил?» А учитель и говорит: «Всякому мальчику, говорит, надо и порезвиться, не все учиться; ему моцион необходим», и вывел ему все резом. Максим Иванович подумал: «Это ты правду говоришь». А был тот учитель Петр Степанович, Царство ему Небесное, как бы словно юродивый; пил уж очень, так даже, что и слишком, и по тому самому его давно уже от всякого места отставили и жил по городу все одно что милостыней, а ума был великого и в науках тверд. «Мне бы не здесь быть, – сам говорил про себя, – мне в университете профессором только быть, а здесь я в грязь погружен и „самые одежды мои возгнушались мною“». Сел Максим Иванович и кричит мальчику: «Резвись!» – а тот перед ним еле дышит. И до того дошло, что самого голосу его ребенок не мог снести – так весь и затрепещется. А Максим-то Иванович все пуще удивляется: «Ни он такой, ни он этакой; я его из грязи взял, в драдедам<sup>1</sup> одел; на нем полсапожки матерчатые, рубашка с вышивкой, как генеральского сына держу, чего ж он ко мне не привержен? Чего как волчонок молчит?» И хоть давно уж все перестали удивляться на Максима Иванова, но тут опять задивились: из себя вышел человек; к этакому малому ребенку пристал, отступить не может. «Жив не желаю быть, а характер в нем искореню. Меня отец его, на смертном одре, уже Святого Причастья вкусив, проклинал; это у него отцовский характер». И ведь даже ни разу лозы не употребил (с того разу боялся). Запугал он его, вот что. Без лозы запугал.

И случилось дело. Только он раз вышел, а мальчик вскочил из-за книги да на стул: пред тем на шифонерку мяч забросил, так чтоб мячик ему достать, да об фарфоровую лампу на шифонерке рукавом и зацепил; лампа-то грохнулась, да на пол, да вдребезги, ажно по всему дому зазвенело, а вещь дорогая – фарфор саксонский. А тут вдруг Максим Иванович из третьей комнаты услышал и завопил. Бросился ребенок бежать куда глаза глядят с перепугу, выбежал на террасу, да через сад, да задней калиткой прямо на набережную. А по набережной там бульвар идет, старые ракиты стоят, место веселое. Сбежал он вниз к воде, люди видели, сплеснул руками, у самого того места, где паром пристае, да ужаснулся, что ли, перед водой – стал как вкопанный. А место это широкое, река быстрая, барки проходят; на той стороне лавки, площадь, храм Божий златыми главами сияет. И как раз тут на перевоз поспешала с дочкой полковница Ферзинг – полк стоял пехотный. Дочка, тоже ребеночек лет восьми, идет в беленьком платьице, смотрит на мальчика и смеется, а в руках такую малую кошелочку деревенскую несет, а в кошелочке ежика. «Смотрите, говорит, маменька, как мальчик смотрит на моего ежика». – «Нет, – говорит полковница, – а он испугался чего-то. – Чего вы так испугались, хорошенький мальчик?» (Так все это потом и рассказывали.) «И какой, говорит, это хорошенький мальчик, и как хорошо одет; чей вы, говорит, мальчик?» А он никогда еще ежика не видывал, подступил, и смотрит, и уже забыл – детский возраст! «Что это, говорит, у вас такое?» – «А это, – говорит барышня, – у нас ежик, мы сейчас у деревенского мужика купили: он в лесу нашел». –

<sup>1</sup> Драдедам – легкое сукно, полусукно.



«Как же это, говорит, такой ежик?» – и уж смеется, и стал он его тыкать пальчиком, а ежик-то щетинится, а девочка-то рада на мальчика: «Мы, говорит, его домой несем и хотим приучать». – «Ах, говорит, подарите мне вашего ежика!» И так он это ее умильно попросил, и только что выговорит, как вдруг Максим-то Иванович над ним сверху: «А! Вот ты где! Держи его!» (До того озверел, что сам без шапки из дому погнался за ним.) Мальчик, как вспомнил про все, вскрикнул, бросился к воде, прижал себе к обеим грудкам по кулачку, посмотрел в небеса (видели, видели!) – да бух в воду! Ну, закричали, бросились с парома, стали ловить, да водой отнесло, река быстрая, а как вытащили, уж и захлебнулся, – мертвенький. Грудкой-то слаб был, не стерпел воды, да и много ль такому надо? И вот на памяти людской еще не было в тех местах, чтобы такой малый робенок на свою жизнь посягнул! Такой грех! И что может сия малая душка на том свете Господу Богу сказать!

Над тем самым, с тех пор, Максим Иванович и задумался. И переменялся человек, что узнать нельзя. Больно уж тогда опечалился. Стал было пить, много пил, да бросил – не помогло. Бросил и на фабрику ездить, никого не слушает. Говорят ему что – молчит али рукой махнет. Та к проходил он месяца с два, а потом стал сам с собой говорить. Ходит и сам с собой говорит. Сгорела подгородная деревнюшка Васькова, выгорело девять домов; поехал Максим Иванович взглянуть. Обступили его погорельцы, взвыли – обещал помочь и приказ отдал, а потом призвал управляющего и все отменил: «Не на доть, говорит, ничего давать» – и не сказал за что. «В поправление меня, говорит, отдал Гос подь всем людям, яко же некоего изверга, то уж пусть так и будет. Как ветер, говорит, развеялась слава моя». Приехал к нему сам архимандрит, старец был строгий и в монастыре общежитие ввел. «Ты чего?» – говорит, строго так. «А я вот чего», – и раскрыл ему Максим Иванович книгу и указал место:

«А иже аще соблазнит единого малых сих верующих в Мя, уне есть ему, да обесится жернов оселский на выи его, и потонет в пучине морстей» (Мф. 18: 6).

– Да, – сказал архимандрит, – хоть и не о том сие прямо сказано, а все же соприкасается. Беда, коли мерку свою потеряет человек, – пропадет тот человек. А ты возмнил.

А Максим Иванович сидит, словно столбняк на него нашел. Архимандрит глядел-глядел.

– Слушай, говорит, и запомни. Сказано: «Слова отчаянного летят на ветер». И еще то вспомни, что и ангелы Божии несовершенны, а совершен и безгрешен токмо один Бог наш Иисус Христос, Ему же ангелы служат. Да и не хотел же ты смерти сего младенца, а только был безрассуден. Только вот что, говорит, мне даже чудесно: мало ль ты, говорит, еще горших бесчинств произносил, мало ль по миру людей пустил, мало ль растлил, мало ль погубил, – все одно как бы убиением? И не его ли сестры еще прежде того все перемерли, все четыре младенчика, почти что на глазах твоих? Чего ж тебя так сей единый смутил? Ведь о прежних всех, полагаю, не то что сожалеть, а и думать забыл? Почему же так устранился младенца сего, в коем и не весьма повинен?

– Во сне мне снится, – изрек Максим Иванович.

– И что же?

Но ничего более не открыл, сидит, молчит. Удивился архимандрит да с тем и отъехал: ничего уж тут не поделаешь.

И послал Максим Иванович за учителем, за Петром Степановичем; с самого того случая не видались.

– Помнишь ты? – говорит.

– Помню, – говорит.

– Ты, говорит, здесь масляной краской в трактир картины мазал и с архиреева портрета копию снимал. Можешь ты мне написать краской картину одну?

– Я, говорит, все могу; я, говорит, всякий талант имею и все могу.

– Напиши же ты мне картину самую большую, во всю стену, и напиши на ней перво-наперво реку, и спуск, и перевоз, и чтоб все люди, какие были тогда, все тут были. И чтоб

полковница и девочка были, и тот самый ежик. Да и другой берег весь мне спиши, чтоб виден был, как есть: и церковь, и площадь, и лавки, и где извозчики стоят, – все, как есть, спиши. И тут у перевоза мальчика, над самой рекой, на том самом месте, и беспрерывно, чтобы два кулачка вот так к груди прижал, к обоим сосочкам. Беспрерывно это. И раскрой ты перед ним с той стороны, над церковью, небо, и чтобы все ангелы во свете небесном летели встречать его. Можешь потрафить аль нет?

– Я все могу.

– Я не то чтоб такого Трифона, как ты, я и первейшего живописца из Москвы могу выписать, али хоша бы из самого Лондона, да ты его лик помнишь. Если выйдет не схож али мало схож, то дам тебе всего пятьдесят рублей, а если выйдет совсем похож, то дам двести рублей. Помни, глазки голубенькие... Да чтобы самая-самая большая картина вышла.

Изготовились; стал писать Петр Степанович, да вдруг и приходит:

– Нет, говорит, в таком виде нельзя писать.

– Что так?

– Потому что грех сей, самоубийство, есть самый великий из всех грехов. То как же ангелы его будут стречать после такого греха?

– Да ведь он – младенец, ему не вменимо.

– Нет, не младенец, а уже отрок: восьми уже лет был, когда сие совершилось. Все же он хотя некий ответ должен дать.

Еще пуще ужаснулся Максим Иванович.

– А я, – говорит Петр Степанович, – вот как придумал: небо открывать не станем и ангелов писать нечего; а спущу я с неба, как бы в встречу ему, луч; такой один светлый луч: все равно как бы нечто и выйдет.

Та к и пустили луч. И видел я сам потом, уже спустя, картину сию, и этот луч самый, и реку – во всю стену вытянул, вся синяя; и отрок милый тут же, обе ручки к грудкам прижал, и маленькую барышню, и ежика – все потрафил. Только Максим Иванович тогда никому картину не открыл, а запер ее в кабинете на ключ от всех глаз. А уж как рвались по городу, чтоб повидать: всех гнать велел. Большой разговор пошел. А Петр Степанович словно из себя тогда вышел: «Я, говорит, теперь уже все могу; мне, говорит, только в Санкт-Петербурге при дворе состоять». Любезнейший был человек, а превозноситься любил беспримерно. И постигла его участь: как получил все двести рублей, начал тотчас же пить и всем деньги показывать, похваляясь; и убил его пьяного ночью наш мещанин, с которым и пил, и деньги ограбил; все сие наутро и объяснилось.

А кончилось все так, что и теперь там напреж всего вспоминают. Вдруг приезжает Максим Иванович к той самой вдове: нанимала на краю у мещанки в избушке. На сей раз уже во двор вошел; стал пред ней да и поклонился в землю. А та с тех разов больна была, еле двигалась. «Матушка, возопил, честная вдовица, выйди за меня, изверга, замуж, дай жить на свете!» Та глядит ни жива ни мертва. «Хочу, говорит, чтоб у нас еще мальчик родился, и ежели родится он, тогда, значит, тот мальчик простил нас обоих: и тебя и меня. Мне так мальчик велел». Видит она, что не в уме человек, а как бы в исступлении, да все же не утерпела.

– Пустяки это все, – отвечает ему, – и одно малодушие. Через то самое малодушие я всех моих птенцов истеряла. Я и видеть-то вас перед собой не могу, а не то чтобы такую вековеченскую муку принять.

Отъехал Максим Иванович, да не унялся. Загрохотал весь город от такого чуда. А Максим Иванович свах заслал. Выписал из губернии двух своих теток, по мещанству жили. Тетки не тетки, все же родственницы, честь, значит; стали те ее склонять, принялись улащать, из избы не выходят. Заслал и из городских, и по купечеству, и протопопшу соборную, и из чиновниц; обступили ее всем городом, а та даже гнушается: «Если б, говорит, сироты мои ожили, а теперь на что? Да я перед сиротками моими какой грех приму!» Склонил и архимандрита, подул и

тот в ухо: «Ты, говорит, в нем нового человека воззвать можешь». Ужаснулась она. А люди-то на нее удивляются: «Уж и как же это можно, чтоб от такого счастья отказываться!» И вот чем же он ее в конце покорил: «Все же он, говорит, самоубивец, и не младенец, а уже отрок, и по летам ко Святому Причастью его уже прямо допустить нельзя было, а стало быть, все же он хотя бы некий ответ должен дать. Если же вступишь со мной в супружество, то великое обещание даю: выстрою новый храм токмо на вечный помин души его». Против сего не устояла и согласилась. Та к и повенчались.

И вышло всем на удивление. Стали они жить с самого первого дня в великом и нелицемерном согласии, опасно соблюдая свое супружество, и как единая душа в двух телесах. Зачала она в ту же зиму, и стали они посещать храмы Божии и трепетать гнева Господня. Были в трех монастырях и внимали пророчествам. Он же соорудил обещанный храм и выстроил в городе больницу и богадельню. Отделил капитал на вдов и сирот. И вспомнил всех, кого обидел, и возжелал возвратить; деньги же стал выдавать безмерно, так что уже супруга и архимандрит придержали за руки, ибо «довольно, говорят, и сего». Послушался Максим Иванович: «Я, говорит, в тот раз Фому обсчитал». Ну, Фоме отдали. А Фома так даже заплакал: «Я, говорит, я и так... Многим и без того довольны и вечно обязаны Богу молить». Всех, стало быть, проникло оно, и, значит, правду говорят, что хорошим примером будет жив человек. А народ там добрый.

Фабрикой сама супруга стала орудовать, и так, что и теперь вспоминают. Пить не перестал, но стала она его в эти самые дни соблюдать, а потом и лечить. Речь его стала степенная, и даже самый глас изменился. Стал жалостлив беспримерно, даже к скотам: увидал из окна, как мужик стегал лошадь по голове безобразно, и тотчас выслал и купил у него лошадь за вдвое цены. И получил дар слезный: кто бы с ним ни заговорил, так и зальется слезами. Когда же пришло время ее, внял наконец Господь их молитвам и послал им сына, и стал Максим Иванович, еще в первый раз с тех пор, светел; много милостыни роздал, много долгов простил, на крестины созвал весь город. Созвал он это город, а на другой день, как ночь, вышел. Видит супруга, что с ним нечто случилось, и поднесла к нему новорожденного: «Простил, говорит, нас отрок, внял слезам и молитвам за него нашим». А о сем предмете, надо так сказать, они во весь год ни разу не сказали слова, а лишь оба про себя содержали. И поглядел на нее Максим Иванович мрачно, как ночь: «Подожди, говорит: он, почитай, весь год не приходил, а в сию ночь опять приснился». «Тут-то в первый раз проник и в мое сердце ужас, после сих странных слов», – припоминала потом.

И не напрасно приснился отрок. Только что Максим Иванович о сем изрек, почти, так сказать, в самую ту минуту приключилось с новорожденным нечто: вдруг захворал. И болело дитя восемь дней, молились неустанно, и докторов призывали, и выписали из Москвы самого первого доктора по чугунке. Прибыл доктор, рассердился. «Я, говорит, самый первый доктор, меня вся Москва ожидает». Прописал капель и уехал поспешно. Восемьсот рублей увез. А ребеночек к вечеру помер.

И что же за сим? Отписал Максим Иванович все имущество любезной супруге, выдал ей все капиталы и документы, завершил все правильно и законным порядком, а затем стал перед ней и поклонился ей до земли: «Отпусти ты меня, бесценная супруга моя, душу мою спасти, пока можно. Ежели время мое без успеха душе проведу, то назад уже не возвращусь. Был я тверд и жесток, и тягости налагал, но мню, что за скорби и странствия предстоящие не оставит без воздаяния Господь, ибо оставить все сие есть немалый крест и немалая скорбь». И унимала его супруга со многими слезами: «Ты мне един теперь на земле, на кого же останусь? Я, говорит, за год в сердце милость нажила». И увещевали всем городом целый месяц, и молили его, и положили силой стеречь. Но не послушал их и ночью скрытно вышел, и уже более не возвращался. А, слышно, подвизается в странствиях и терпении даже до сегодня, а супругу милую извещает ежегодно...

*1875*

## Великий инквизитор

(Отрывок из романа «Братья Карамазовы»)

– Ведь вот и тут без предисловия невозможно, то есть без литературного предисловия, тьфу! – засмеялся Иван, – а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, – тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, – тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и Самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. В «Notre Dame de Paris»<sup>2</sup> у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Людовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием: «Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie»<sup>3</sup>, где и является она сама лично и произносит свой bon jugement<sup>4</sup>. У нас в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и «стихов», в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда – в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): «Хождение Богородицы по мукам», с картинками и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит Ее «по мукам» Архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то «тех уже забывает Бог» – выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых Она видела там, без различия. Разговор Ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, Она не отходит, и когда Бог указывает Ей на прогвожденные руки и ноги Ее Сына и спрашивает: как Я прощу Его мучителей, – то Она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с Нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что Она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от Великой Пятницы до Троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к Нему: «Прав ты, Господи, что так судил». Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является Он; правда, Он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как Он дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк Его написал: «Се грядущи скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец мой Небесный», как изрек Он и Сам еще на земле. Но человечество ждет Его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залогом с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет,  
Нет залогов от небес.

---

<sup>2</sup> «Собор Парижской Богородицы» (фр.).

<sup>3</sup> «Милосердный суд Пресвятой и Всемилоливой Девы Марии» (фр.).

<sup>4</sup> Милосердный суд (фр.).

И только одна лишь вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама Царица Небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, «подобная светильнику» (то есть Церкви), «пала на источники вод, и стали они горьки». Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к Нему по-прежнему, ждут Его, любят Его, надеются на Него, жаждут пострадать и умереть за Него, как и прежде. И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо Господи явися нам», столько веков взывало к Нему, что Он, в неизмеримом сострадании Своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал Он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их «житиях». У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что Удрученный ношей крестной

Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде Царь Небесный  
Исходил, благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот Он возжелал появиться хоть на мгновенье к народу – к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему Его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолепных автодафе  
Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится Он, по обещанию Своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, «как молния, блистающая от востока до запада». Нет, Он возжелал хоть на мгновенье посетить детей Своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию Своему Он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на «стогны жаркие» южного города, как раз в котором всего лишь накануне в «великолепном автодафе», в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом Великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков *ad maiorem gloriam Dei*<sup>5</sup>. Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают Его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают Его. Народ непобедимой силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь к одеждам Его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я Тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой Его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают пред Ним цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!» «Это Он, это Сам Он, – повторяют все, – это должен быть Он, это не кто как Он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик:

---

<sup>5</sup> К вящей славе Господней (лат.).

в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя», – кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам Его: «Если это Ты, то воскреси дитя мое!» – восклицает она, простирая к Нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам Его. Он глядит с состраданием, и уста Его тихо и еще раз произносят:

«Талифа куми» – «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту, вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал Великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на Него руки и уводят Его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик Великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо Его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит Ему: «Это Ты? Ты? – Но, не получая ответа, быстро прибавляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к Твоему костру угли, знаешь Ты это? Да, Ты, может быть, это знаешь», – прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.

– Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? – улыбнулся все время молча слушавший Алеша, – прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное *qui pro quo*?<sup>6</sup>

– Прими хоть последнее, – рассмеялся Иван, – если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического – хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, – рассмеялся он опять, – старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его Своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*,

<sup>6</sup> Одно вместо другого, путаница, недоразумение (*лат.*).

что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.

– А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?

– Да так и должно быть во всех даже случаях, – опять засмеялся Иван. – Сам старик замечает Ему, что Он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: «Все, дескать, передано Тобою папе и все, стало быть, теперь у папы, а Ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере». В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. «Имеешь ли Ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого Ты пришел?» – спрашивает Его мой старик и сам отвечает Ему за Него: «Нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую Ты так стоял, когда был на земле. Все, что Ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры Тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не Ты ли так часто тогда говорил: „Хочу сделать вас свободными“. Но вот Ты теперь увидел этих „свободных“ людей, – прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. – Да, это дело нам дорого стоило, – продолжает он, строго смотря на него, – но мы dokonчили наконец это дело во имя Твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротно и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль Ты желал, такой ли свободы?»

– Я опять не понимаю, – прервал Алеша, – он иронизирует, смеется?

– Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они поборолли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, – говорит он Ему, – Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но Ты не послушал предупреждений, Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, Ты передал дело нам. Ты обещал, Ты утвердил Своим словом, Ты дал нам право связывать и развязывать и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же Ты пришел нам мешать?»

– А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? – спросил Алеша.

– А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.

«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, – продолжает старик, – великий дух говорил с Тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы „искушал“ Тебя. Та к ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил Тебе в трех вопросах, и что Ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“? А между тем если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных – правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов – и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, – то думаешь ли Ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены Тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим,



лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековым и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.

Реши же сам, кто был прав: Ты или тот, который тогда вопрошал Тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: „Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои“. Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли, и сразится с Тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: „Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!“ Знаешь ли Ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!“ – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: „Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали“. И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, и солжем, что во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: „Лучше поработите нас, но накормите нас“. Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделить между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за Тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать – так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во имя Твое. Мы их обманем опять, ибо Тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что Ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв „хлебы“, Ты бы ответил на всеобщую и

вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе – это: „пред кем преклониться?“ Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно *все вместе*. Вот эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и зывали друг к другу: „Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!“ И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами. Ты знал, Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться пред Тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал Ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом Тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо Тебя – о, тогда он даже бросит хлеб Твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом Ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще больше! Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда – Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, – и это кто же: Тот, который пришел отдать за них жизнь Свою! Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, Ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобою, прельщенный и плененный Тобою. Вместо твердого древнего закона – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою, – но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в Тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал Ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, Сам Ты и положил основание к разрушению Своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем то ли предлагалось Тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, – эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и Сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил Тебя на вершине храма и сказал Тебе: „Если хочешь узнать, Сын ли ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут Его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, Сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего“, но Ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно, Ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это – они-то боги ли? О, Ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз,

Ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасти пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший Тебя. Но, повторяю, много ли таких, как Ты? И неужели Ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Та к ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, Ты знал, что подвиг Твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел с креста, когда кричали Тебе, издеваясь и дразня Тебя: „Сойди со креста и уверуем, что это Ты“. Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого Ты вознес до Себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и Ты? Столь уважая его, Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал, – и это кто же, Тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. Итак, беспокойство, смятение и несчастье – вот теперешний удел людей после того, как Ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк Твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, – и уж, конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Та к мы и сделали. Мы исправили подвиг Твой и основали его на *чуде, тайне и авторитете*. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами

Своими? Рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя. И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с Кем говорю? То, что имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с *ним*, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобою, а с *ним*, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем Ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем Ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, Ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимур и Чингисханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли Тебя и пошли за *ним*. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: „Тайна!“ Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься Своими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец, ожидая Тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на Тебя же и воздвигнут *свободное* знамя свое. Но Ты Сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: „Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих“. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь поко-

рится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо Ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей – все судя по их послушанию – и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести – все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдалцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь, придешь со Своими избранниками, со Своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих *тайну*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.